

Предисловие

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА

«Другая страна» опубликована в 1962 году. Время было такое, что книги, особенно те, где лицом к лицу оказывались персонажи из разных этнических миров, воспринимались так, словно они представляют только социологический или политический интерес. С авторскими намерениями при этом не считались. Важнее была ситуация, заставлявшая поминутно задумываться, уж не подошла ли Америка к порогу новой гражданской войны. Эта перспектива не выглядела невозможной или хотя бы отдаленной, в негритянских предместьях уже строили баррикады. Другая страна? Ну конечно, это цветной квартал, откуда исходит все более осязаемая угроза. Это подполье, грозящее взорвать стабильность общества, ввергнув его в хаос и кровь.

Лишь годы спустя, когда стала сглаживаться накаленность расовых антагонизмов, увидели, что роман Болдуина написан в общем-то совсем о другом — о любви. Это любовь — трагическая, иступленная, нередко незаконная, а если судить по принятым меркам, и болезненная — выделась автору и его героям действительно как другая страна на фоне окружающего практицизма, эмоциональной стерильности, унылой борьбы за житейский успех. И на территорию вот этой другой страны Болдуин вместе с персонажами вновь и вновь предпринимал отважные вторжения, вполне отдавая себе отчет в том, что такие странствия непредсказуемы и опасны. Чреватые катастрофическим завершением, которое вовсе не редкость в романах американского писателя.

Из всех этих романов «Другая страна» повсюду в мире пользуется наибольшим признанием. Хотя и до появления этой книги Джеймс Болдуин был знаменит. Очень знаменит.

Слава пришла к этому уроженцу Гарлема и его поэту, когда в 1953 году он опубликовал свою первую книгу «Иди и вещай с горы». Болдуину было двадцать девять лет, он жил в Париже, где не так остро чувствовался расизм. Негритянскую литературу впервые начали замечать, ценить всерьез: Ричард Райт, Ральф Эллисон — это были писатели с мировыми именами. Болдуину предстояло окончательно поломать стереотип, согласно которому у негритянского писателя всегда очень определенный — и достаточно узкий — круг тем, а его художественные решения предсказуемы и даже несколько примитивны.

О нем такого не скажет никто. Гарлем, под какими бы небесами он ни располагался, — постоянное место действия в его книгах, а герои так или иначе связаны с гетто, которое они ненавидят, потому что оно для них знаменует собой духовный плен. Но эта проблематика осмыслена Болдуином так, что в ней прочитываются смыслы, узнаваемые и для тех, кто никогда не соприкасался с реальностью гарлемов. Болдуин пишет о черной Америке, но у него это просто материк, на котором особенно проявлены драмы и бедствия всей современной эпохи.

Вот отчего он никогда не воспринимался как чужой в американской литературной среде, никогда не был посторонним. Его круг общения еще с парижской литературной юности составляли писатели, у которых трудно складывались отношения с родной страной, в основном белые, — Норман Мейлер, Уильям Стайрон. Потом они займут в американской литературе выдающееся место. Как и Болдуин.

Тогда, в 50-е годы, их всех сближало ощущение, что для настоящего художника, не оглядывающегося на готовые мнения, предрассудки и вкусы толпы, Америка слишком неподходящее место, потому что в ней властвуют плоский

стандарт и всесильный конформизм. На самом деле это был довольно предвзятый взгляд, но в тех условиях он понятен. Еще чувствовалась атмосфера заканчивающейся «холодной войны». Подозрительность и нетерпимость напоминали о себе постоянно, принуждение к единомыслию было не просто потенциальной опасностью. Думавших нешаблонно воспринимали с настороженностью, чтобы не сказать враждебно. Конфликт с окружающей средой для одаренных и действительно независимых молодых писателей становился неизбежен.

У Болдуина все усугублялось тем «метафизическим проклятием расы», которое он ощутил на самом себе очень рано и которое станет, пожалуй, самым неотступным мотивом его произведений. С детства он знал, какие социальные и психологические перегородки отделяют черных от белых, и попытка преодоления этих барьеров — самое тяжелое, что уготовано всем его персонажам.

Самому ему преодоление далось тяжелой ценой: сначала — резкий конфликт с отчимом, священником, насаждавшим под своей крышей дух смирения и аскезы, затем — не отпускавшее Болдуина чувство бесконечного одиночества. Бунтарь, впрямую столкнувшийся с холодной враждебностью мира, где недоверие то и дело перерастает в ненависть, и пытающийся от этого мира защититься бегством, неприятием, непризнанием его уродливых правил и законов, — таким был Болдуин в пору своей юности. И эта настроенность, соединившая в себе отвращение, боль, тоску по любви как единственной настоящей реальности, пронизывает его книги, делая их такими необычными по характеру коллизий, по интонации, в какой ведется повествование.

Читая эти книги, невозможно не почувствовать, насколько велико отчуждение между героями, которым автор доверил собственные мысли, и окружающим миром плоской нормальности, означающей, среди прочего, анемию чувств. Для Болдуина вызов этому миру всегда означал и преодоление еще одного барьера: того, который изоли-

рует сексуальные меньшинства, делая их изгоями. Расовая отверженность для него с юности была явлением примерно того же ряда, что и гонения на приверженцев запретного эроса, одно время достаточно жестокие у него в Америке.

Франция в этом смысле была намного более либеральной, что не в последнюю очередь помогло Болдуину обрести на берегах Сены вторую родину. Он и умер во Франции в 1987 году, а Париж был выбран местом действия для «Комнаты Джованни», талантливой и откровенно скандальной книги, вышедшей в 1956 году. После нее имя Болдуина уже до самого конца его не слишком протяженного творческого пути называлось одним из первых, когда речь шла о современной американской прозе.

У нас «Комната Джованни», долго курсировавшая по самиздату, была опубликована всего несколько лет назад, и тогда мы впервые получили возможность прочесть настоящего Болдуина. До этого, правда, выходила в русском переводе его талантливая повесть «Если Бийл-стрит могла бы заговорить», была и книжка рассказов, а также фрагменты публицистики. Но все это подбиралось по одному принципу: с целью показать вовлеченность писателя в негритянское движение последних десятилетий, столь многое значившее для судеб Америки. Конечно, Болдуин никогда не осознавал себя свободным от гражданских обязательств, а его роль в движении, ведомом Мартином Лютером Кингом, которого иногда называют американским Сахаровым, без всяких натяжек велика и почетна. Но для писателя Болдуина движение все же не стало ни главной темой, ни источником сюжетов и коллизий.

Как писатель он по-настоящему выразил себя не в произведениях, где особенно чувствуется злоба дня, а в других книгах. По характеру действия это камерные произведения, в которых все замыкается кругом отношений всего нескольких героев. Они, эти герои, словно бы без остатка поглощены собственными интимными переживаниями и стараются не замечать давления среды, в которой нахо-

дятся, эпохи, в которой живут. На самом деле зависимость и от среды, и от эпохи как раз и проявляется всего отчетливее в сокровенной сфере их жизни, и вот эту зависимость, ее трагические последствия Болдуин умел показать, пожалуй, как никто другой из его литературных современников.

С выходом в свет «Другой страны» истинная природа дарования Болдуина, должно быть, станет ясна для любого читателя, который задумается о пружинах, направляющих отношения Руфуса и Леоны, приводящих в действие всю эту поэтичную историю — поэтичную, как ни катастрофичен ее финал. Тональность Болдуина всегда очень прихотлива, ее переливы непредсказуемы, но все-таки для знающих его прозу привычно это смелое сближение лиризма, скепсиса, поэтической просветленности, сменяющейся жестокими, даже травмирующими сценами. В каждой из многочисленных повествовательных линий «Другой страны» прослеживается один и тот же сюжет — вызов нормативности, в том числе и той, которая руководит эротическими тяготениями, пристрастиями, потребностями.

Ида Скотт, Эрик, Вивальдо, супруги Силенски — за каждым из этих персонажей стоит вроде бы сугубо частная история, и никто из них не соответствует представлению о типичном герое. Болдуину они и важны своей неповторимостью — при общности ситуации бунтарства или конформизма, с которой сталкиваются все без исключения. Там, где социальный роман требовал бы обобщений и типажей, Болдуин, не желая, чтобы его герои иллюстрировали какие-то явления и тенденции, просто воссоздает несколько человеческих судеб, складывающихся по-разному, но неизменно с нерадостным итогом. И эти судьбы не олицетворяют ничего, кроме состояния мира, каким он видится американскому писателю.

Это всегда субъективно окрашенный мир, в котором главенствуют ценности, искания, надежды, драмы, переживаемые личностью, а не характеризующие социум. И чем более уникальны преломления судьбы, в общем-то одной

и той же для болдуиновских героев, чем более сложные и непредвидимые отпечатки она оставляет в сознании и жизненном опыте каждого из них, тем очевиднее, что между ними очень много родственного, потому что они принадлежат одному и тому же человеческому типу. Но, сохраняя близость мироощущения, тем не менее все же расходятся друг с другом в минуты решающего выбора, и вот это расхождение — подчас очень болезненное — истинный болдуиновский сюжет.

Ясно, что по существу своего крупного дарования этот писатель, которого так старательно привязывали к идеологии и к политике, был прежде всего лириком. Может быть, он самый лиричный писатель во всей послевоенной западной прозе.

И один из самых печальных. У Болдуина есть страницы, написанные с юмором, который, по первому впечатлению, может даже показаться беззаботным. Он многое перенял из городского фольклора, никогда не пренебрегая мелочами повседневности, а они чаще всего гротескны и забавны. Но тональность его книг все же по преимуществу грустная — лирика становится щемящей, и чувствуется взгляд, привычно окрашивающий жизнь в цвета трагедии.

Судьба идет по следу болдуиновских персонажей, как сумасшедший с бритвой из стихотворения Арсения Тарковского. И не помогают ни самоотверженность, ни извечное человеческое тяготение навстречу друг другу: и формы, признаваемые нормальными, и те, что названы патологией, хотя в описываемых Болдуином отношениях неподдельная любовь чувствуется куда сильнее, чем вывих естества.

Любовь становится последним и единственным прибежищем в мире механической обыденности, которая убивает, и даже не метафорически. Но и это прибежище эфемерно. Смелость вызова тому, что принято и санкционировано обществом, не проходит безнаказанно: нищета, бездомность, приступы отчаяния, постепенно накапливающееся взаимное непонимание — все это знакомо героям Болдуи-

на. Иные надламываются, для других сильнее остается инстинкт неприятия: что угодно, лишь бы не повторилась в их жизни история конформиста, от века одна и та же по своей сути. И увенчиваемая одними и теми же итогами — внешнее благополучие, за которым скрыта мертвенность чувства и духа.

Собственно, «Другая страна», как все лучшее, что создано Болдуином, — книга о неодолимом искушении, каким становится свобода, и о том, как это искушение обманчиво, каким бременем оборачивается даже та ущемленная свобода, которую его бунтарям действительно удастся завоевать, пусть для одних себя. Болдуин был слишком аналитичным художником, чтобы доверяться иллюзиям, и знал, что свобода — это ноша, какую мало кто сумеет выдержать, а стремление к свободе непременно увенчано драмой.

Оттого он снова и снова заставляет своих героев блуждать в лабиринте обманчивых ориентиров и быстро гаснущих надежд, за которыми приходит чувство, что их будущее им не принадлежит, и все дороги заканчиваются тупиками, и самоубийство было бы самым логичным исходом. В подобных ситуациях спасением может стать только нежность, хотя вряд ли выручит и она. Что поделать, другой опоры у этих персонажей просто нет.

Своего читателя Болдуин умеет завоевать прежде всего той нешаблонностью рассказа, которая у него распознается сразу же, с первых абзацев. Эта проза все время вызывает ассоциации с искусством джаза: та же богатая и постоянно изменчивая звуковая палитра, те же лейтмотивы, обозначающиеся в разных контекстах, и яркая импровизационность, и сталкивающиеся, спорящие голоса. При сегодняшней ставшей привычной сухости и скупости повествования книги Болдуина кажутся достоянием иной эпохи, когда не надо было доказывать, что литература — не то же самое, что философский трактат или статистическая таблица, которая для занимательности пересказана с элементами беллетристики.

Болдуин тоже владел новейшими идеями и концепциями, был интеллектуалом в полном значении слова. Но прежде всего он был прирожденный художник. У него ни грана умозрительности, у него герои никогда не превращаются в марионеток, чтобы авторский замысел приобрел самоочевидную четкость, и никогда не ослабевает эмоциональная насыщенность его повествования. Он писал прозу, исчезающую буквально на глазах, он верил, что настоящая проза способна сказать намного больше, чем любой перенасыщенный ученостью текст, которыми теперь заполняется пространство, принадлежавшее литературе. Как знать, не выяснится ли со временем, что Джеймс Болдуин был одним из ее последних корифеев?

Алексей Зверев

Книга первая

БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК

Кто еле тащится,
Отъедет пусть в сторонку.
С коня сойдя, поплелся он пешком.
Добро что близко.

У. С. Хенди

1

Он стоял на Таймс-сквер — прямо перед Седьмой авеню. Уже давно перевалило за полночь. С двух часов дня он торчал в кинотеатре, устроившись в последнем ряду балкона. Дважды его будили шумные герои итальянского фильма, затем нарушил сон билетер, а еще пару раз — чьи-то руки, украдкой ползущие по его бедрам. Взъяриться не было сил: из него ушла вся энергия, он так низко пал, что не считал себя вправе распоряжаться даже собственным телом — *снявши голову, по волосам не плачут*, — но все же зарычал, не просыпаясь, оскалился, обнажив белые зубы, и потуже сжал ноги. Постепенно балкон опустел, действие последнего фильма бодро шло к развязке, и тогда он, спотыкаясь, побрел по ступенькам, казавшимися бесконечными, вниз к выходу. Хотелось есть, во рту был неприятный привкус. Выйдя на улицу, он вдруг понял, что хочет помочиться. В карманах ни цента. Идти некуда.

Полицейский, проходя мимо, изучающе посмотрел на него. Отвернувшись, Руфус поднял воротник кожаной куртки и двинулся к северу по Седьмой авеню. Ветер, раздувая

широкие летние брюки, едко пощипывал морозцем ноги. Он хотел было направиться в центр и разбудить Вивальдо — единственного своего друга во всем городе, а может, и в мире, но потом передумал, решив зайти в один из ночных клубов. Там могли оказаться знакомые — кто-нибудь да накормит или хотя бы даст денег на метро. Но в глубине души он надеялся, что его не узнают, и хотел этого.

На улице было пустынно, большинство огней не горело. Вот прошла одна женщина, другая; один мужчина, другой; изредка встречались парочки. Жизнь кипела на уголках, возле баров, где еще был свет; там сбивались в группки оживленные белые мужчины и женщины, они болтали, улыбались, жали друг другу руки, подзывали такси, которые уносили их прочь, исчезали в дверях баров или растворялись в темноте боковых улочек. Маленькие темные кубики газетных киосков притулились у края тротуара, к ним подходили полицейские, таксисты и прочий люд, обменивались привычными словами с продавцами, чьи голоса глухо, доносились изнутри. Рядом рекламировалась жевательная резинка — *отведай, и все заботы уйдут, а улыбка никогда не покинет твоего лица*. Плавающее неонов название гостиницы резко выделялось на фоне темного, беззвездного неба. С ним соперничали имена кинозвезд и других бродвейских знаменитостей, а также названия — чуть ли не в милю длиной — марок автомобилей, мчавших этих небожителей в бессмертие. Острые, как пики, или тупые, словно фаллосы, черные небоскребы стерегли этот никогда не засыпающий город.

Руфус брел у подножья темных великанов — один из падших, загубленных чудовищной тяжестью этого города, один из раздавленных им за день. Одинокий как перст, доведенный этим одиночеством до полного отчаяния, он, однако, был в своем сиротстве не одинок. Те юноши и девушки, что пили сейчас за стойками баров, могли легко попасть в его положение — их разделяла преграда почти мнимая, вроде дымка от сигареты. Они, конечно, никогда не при-

знались бы в этом, один вид Руфуса их бы шокировал, но в глубине души знали, почему он оказался на улицах ночного города, почему допоздна разъезжает в подземке, почему у него подводит от голода живот, волосы сваялись, а сам он весь пропах потом, почему одежда и обувь на нем не по сезону легкие и, наконец, почему он так боится остановиться и перевести дух.

Руфус в нерешительности застыл перед запотевшими стеклянными дверями клуба, откуда доносилась джазовая музыка. Всматриваясь внутрь, он не столько видел, сколько знал, что на подиуме неистово работают негритянские парни, а им рассеянно внимает разношерстная публика. Громкая, бездушная музыка била по мозгам, музыканты не стремились передать что-то свое, они изрыгали звуки как проклятие, в силу которого больше не верили даже те, кто давно уже жил одной ненавистью. Они знали, что их не услышат — если кровь в жилах давно застыла, разве может она запульсировать, забиться вновь? Поэтому музыканты играли навязшие в ушах мелодии, словно уверяя слушателей, что все идет как надо, а людям за столиками это нравилось, и они громко переговаривались, стараясь перекричать ревущую музыку, а те, кто сидел у стойки, улаживали под прикрытием музыки, до которой им не было никакого дела, свои делишки. Руфусу хотелось в туалет, но стыд за свой неряшливый вид не пускал его внутрь. Он не появлялся на людях почти месяц. Ему представилось, как он крадется меж столиками в туалет, потом обратно, а люди — кто сочувственно, кто с ухмылкой — провожают его взглядами. Кто-нибудь не удержится и шепотом спросит: *«Это что же, Руфус Скотт?»* А кто-то взглянет на него с молчаливым ужасом, а потом снова займется своим делом, тяжело и жалостливо вздохнув: *«Да, это он!»* Нет, никакая сила не заставит его войти; и пока он пританцовывал у дверей, его глаза увлажнились слезами.

Из ресторана, смеясь, вышла белая парочка; проходя мимо, они даже не заметили его. Вырвавшиеся из дверей